

ТАТЬЯНА ГРИБАНОВА



НАСЛЕДСТВО

*Перебираю жизни лоскутки,
Остатки ярких, сброшенных нарядов.
Все воды вешие за счастьем утекли,
Им возвращаться в прошлое не надо...
А мне куда от памяти моей?!
Пропето, отгорело, отзвучало...
И лоскутков не хватит для затей
Лоскутного, как в детстве, одеяла...*

Н. Акимова

I.

Мама, переспорив родственников, наперебой предлагавших для новорожденной вычурные имена, назвала её Надеждой.

Когда Надя подросла и любопытничала, почему у неё такое «простецкое» имя, мама растолковала: «Даже в самую трудную минуту, когда может показаться (не дай-то Бог!), что тебя в жизни ничего не

держит, если ты останешься один на один со страшной бедой, и некому тебе помочь, знай, что ты не одна, у тебя есть НАДЕЖДА – ты сама. С таким именем ты просто обязана верить, что все несчастья, которые редко кого обходят стороной, обязательно минут, и всё образуется.

Надя уж и позабыла тот давний разговор, но, видать, имя у неё, действительно, не такое обычное, как ей казалось. По крайней мере, каких-то больших напастей (кроме развода) за сорок с хвостиком с нею не произошло.

Школа, институт, рождение сына, всё, как и положено, как у всех хороших девочек. Может быть, судьба и до конца дней не заморачивалась бы, но вот уже десяток лет она выживает в другой стране. Не стало той, в которой она росла, училась, начала работать. Канул в Лету Советский Союз.

К этому ни она, ни её родные, ни соседи, ни сотрудники не были готовы. Неразбериха сбита с привычного ритма столицу, прокралась и в её провинциальное городишко. На Надиных глазах рушился десятилетиями устоявшийся уклад, а с ним надежды миллионов людей на покой и стабильность.

Видно, настал тот самый, тяжкий, час, о котором когда-то говорила и которого так опасалась её мама. Беды посыпались одна за другой. Ну, так ещё бабушка сказывала: «Пришла беда, отворяй шире ворота, потому как одна она в гости не навевается, всё с сестрой да с кумой».

Первый раз она (эта треклятая беда) возникла в образе заведующей их отделом Людмилы Петровны, которая объявила о сокращении штата на 70%. Среди «осчастливленных» оказалась и Надя.

Закончив ИНЯЗ, она двадцать лет работала на заводе. Переводить технические бумаги – скукота, не весть что. Но это кормило. Конечно, они с сыном Витей жили более чем скромно. Надя научилась превращать бумажные купюры в «резиновые» – растягивала зарплату так, что хватало

одеться-обуться-прокормиться, выкраивала даже на Витину художку. Продуктами помогали родители, так и не рискнувшие (как она их ни уговаривала) переехать к ней в город.

В той, заводской, жизни случались и маленькие радости.

Как-то в День её Рождения сотрудники скинулись, и, когда утром она подошла к своему столу, обнаружила на нём длинный алый футлярчик с ниткой крупного жемчуга.

«Розовый, - икринка к икринке! – затараторила подруга Катерина, заглядывая через плечо. - Примерь, примерь, или не рада? Это тебе от нашей дружной компании. Заметь, неделю в очередях из-за этой прелести толкалась, выстояла!» – отрапортовала она с гордостью.

Надя, конечно, порадовалась, даже разволновалась. На хлеб, одежду она ещё наскребала, а чтобы украшения! Это откладывалось на неопределённое будущее.

Но через несколько месяцев завод обмер в недобром предчувствии, едва дышали кое-какие чудом уцелевшие цеха.

Она вышла через проходную в звонкий апрельский день. В лужах чужфыкались воробьи, на газонах «трещала», пробиваясь сквозь прошлогоднюю листву, первая поросль. Весна дирижировала в сквере немолчными грачиными оркестрами. После зимнего полусна снова зажурчала, зазвене-ла, занабирала обороты неуёмная жизнь. Всё вокруг жило в ожидании каждодневных перемен, чего-то обязательно лучшего, светлого и радостного.

А Надежда шла по улице с сумкой, в которой среди толстенных, скопившихся за двадцать лет словарей, затерялся тонюсенький конверт с последней зарплатой. О том, когда она, эта вечная головная боль – зарплата, появится снова, придавленная навалившейся безнадегой Надя, в те злосчастные минуты мыслить не могла. Она знала, как не просто сыскать более-менее оплачиваемую работу. Ежедневно предприятия города за проходные, в никуда, выплёскивали потоки рабочего и служащего люда, разом ставшего лишним, ненужным.

Надежде вспомнилось вдруг, как перетерпевала горе-несчастье её мать. Всегда жизнерадостная и открытая, она вдруг суровела лицом, замыкалась. Становилась немногословной. Действия её приобретали совершенно выверенные движения. Напрасно не растрчивались ни слова, ни взгляды. Нарядный пуловер заменялся на повседневную, штопанную-перештопанную кофту. А самое главное – мать искала утешение, а быть может и силы, окунаясь с головой в работу. Перестирывалось нужное и ненужное, выпекались башни блинов, открывались кладовки: чистилось, драилось, выметалось, выскабливалось. Уходя с головой в хозяйство, она отвлекалась от неприятностей, монотонность хлопот наталкивала на размышления. Проходил день-другой, и в голове её созревало решение, отыскивался выход из неурядиц.

Обнаружив, что наконец-таки в доме и во дворе всё блестело и сверкало, а мать, куда-то сбегав, с кем-то потолковав, снова прихорашивалась у трельяжа, Надя понимала: схлынуло, отлегло у родимой на сердце, разрешились тяготившие её напасти.

Дома, задвинув под письменный стол сумку со словарями, Надежда сняла бусы, уложила в бархатный футлярчик и вместе с конвертом подоткнула в комод под стопку постельного. Мелькнуло: «Надо, чтобы Витя о случившемся не знал как можно дольше. Пусть живёт спокойно, а то задёргается... выпускной класс».

И начались каждодневные пустопорожние скитания по неотягощённому предприятиями городу. Но там, где, надеялась она, могли бы пригодиться её знания, опыт, шли свои увольнения, сокращения. Надя обивала пороги школ. Но (как никогда!) учителя держались за свои безденежные места мёртвой хваткой.

Город переполнился безработными, превратился в огромную барахолку. Торговали всем, чем только могли. Занищавший люд тащил на рынок накопленное годами. Рядом с извечными базарными торговками, не стесняясь знакомых, стояли инженеры,

квалифицированные служащие, врачи, студенты, учителя.

Надя, перехватив деньжат у Катерины, которая каким-то волшебным образом всё-таки держалась в отделе, смоталась в столицу, накупила всякой всячины и тайком от Вити вышла на базарную площадь.

Боже мой! Разве станет кто-нибудь рассматривать её копеечные безделушки, когда все только и делают, что измудряются хоть как-то «втюхать» рекой слоняющемуся безработному люду что-нибудь из своего «бесценного» товара.

И вот настал тот час, когда у Надежды, кроме неё самой, действительно ничего не осталось.

Слава Богу, Витя этого не видел. Уже год, как он учился в МАРХИ. Сам поехал, сам поступил, сам устроился в строительную фирму на работу, освоил какую-то итальянскую штукатурку, подрабатывал. Как бедовал, не рассказывал, но домой не возвращался. Даже ей помогал. Стыдно... А что поделаешь?

Явился под Рождество. Заглянул в холодильник. Только и сказал: «Всё ясно. Мышь повесилась. Собирайся». Сгрёб её, повёл в магазин, набросал в тележку круп-макарон, банок-консервов, прихватил бутылочку её любимого брютта да мандаринов, расплатился. Встретил с матерью праздник и снова уехал. Какие там студенческие каникулы!.. Спасибо Господу за сына...

Надежда – одна из тех женщин, которые между сорока и сорока пятью проживают десяток лет, которому не под силу затронуть ни красоты, ни стати. О таких, как она, обычно говорят: «Без возраста». Это у Нади по материнской линии. И мама, и бабушка, и прабабка – светловолосые, голубоглазые, ростом – чуть выше среднего. Крепкие, ладные. Долго копались в женихах, но зато замуж выходили раз – и навсегда. И хотя Надежда поломала эти традиции, не стерпела, развелась-таки со своим непутёвым гулёхой Николаем, видать, как все её родственницы, осталась убеждённой однолюбкой. Научилась не замечать ни на работе, ни на улице сластолюбивых взглядов.

Безрезультатно колеся по городу в пои-

сках заработка, забредала она то в одно, то в другое учреждение. Однажды, устав от недвусмысленных намёков работодателей, переступив порог Дома творчества, и обнаружив, что из кресла директора выглядывал неказистый мужичонка, Надя подумала: «Ну, с этим можно сосуществовать спокойно. С такой внешностью женщин надо не обходить стороной, а обегать за пять вёрст». И, окрестив начальника «Жабом», согласилась на невесть какой, но всё же – оклад!

Через месяц она снова штудировала газеты, наматывала десятки километров в поисках хотя бы какого-то приработка. Жаб оказался на редкость предприимчив. В кабинет, где она (вспомнив о своём давнем увлечении) во второй половине дня занималась со школьницами домашним рукоделием, переместили зачем-то диван. И Жаб зачастил к концу занятий с проверками, напрашиваясь на нескафе-голд, который приносил каждый раз с собой, а, уходя, незаметно прихватывал до следующего раза.

Поначалу Надя, превозмогая отвращение терпела посещение начальника, оттирая после него до блеска чашку, сердилась сама на себя, вот, мол, до чего нищета доводит, будь её воля, воздухом одним бы дышать не стала.

Но в марте, поздравив за праздничным застольем женский коллектив, подвыпивший начальник перехватил её в тёмном коридоре. Прижал своим мягким противным глобусом, спрятанным под длинный, в горошек галстук к стене, и его короткие жабы лапки заскользили по Надиной шёлковой блузке, она рванулась что было сил, залепила пощёчину, вытянулась, как струна (казалось, даже подросла), и быстрым шагом направилась прочь. С оборвавшейся нитки сыпались на паркет, стучали, подпрыгивали и раскатывались по щелям её любимые бусы, но она старалась этого не замечать.

Добравшись до дома, упала в прихожей на стул, не раздеваясь, просидела несколько часов, повторяя: «Беда! Вторая! Жди третью...»

Наутро, вволю нарыдаввшись (на новом месте не успела даже первой зарплаты получить, а идти за ней она уже не могла себе

позволить), взяла ножницы и, не помня, что творит, обчекржила свою чудесную шевелюру. Вымыла рамы, перестирала шторы, вытащила на свежий, принесённый внезапно вчерашней метелью снежок, дорожки. Лупила по ним с такой силой, что сломала выбивалку. Вечером, окинув придирчивым взглядом квартиру, подуспокоилась. Но потом опять две ночи не спала, просыпалась и ревела, ревела.

Наконец, с красными рачьими глазами, посеревшая и осунувшаяся, постучалась к Катерине подровнять как зря торчащие локоны, подвести за чаем итоги очередной неудачной попытки обрести хоть какой-то достаток.

«Не дрейфы! Прорвёмся,- поддержала Надежду никогда не киснувшая подруга, - или в стране что-нибудь изменится, или сами что-нибудь надумаем, не может же так продолжаться бесконечно». Катерина понимала, что и она в любой момент может оказаться безработной, да ещё и без крыши над головой. Прозябала она уже с десяток лет в ведомственном жильё. Но такова уж была подруга. Вот кого надо было назвать Надеждой!

Зиму Надя перебивалась частными уроками (Катерина где-то раздобыла для неё двух выпускниц), построинела на пару размеров, еле-еле сводила концы с концами, но держалась. Родителям так и не осмелилась заикнуться о своём житье-существовании.

Им и своего горя хватало. Гордая, сильная духом мама слегла. Обострилась застарелая болячка. Казалось, что держалась матушка теперь только этой самой силой духа. Больше уж и нечем. Как такой о своих горестях поплачешься... Отец? Если быть честной, ему - спасибо... за то, что упрямылся, не переезжал к ней, освобождал от тягот по уходу за больной мамой. Не обманешь родительского сердца. Видать, догадывался родной, как не сладко ей приходится.

Надя, как только объявлялись какие-никакие деньги, мчалась проведать стариков. Постирать-приготовить, помочь по дому, в огороде. Просто потолковать, приободрить, мол, у неё всё в порядке. А мама не верила:

«Глаза у тебя, Надюша, грустные. Ох, неладно что-то у тебя, неладно!»

Под Троицу опять приехал сын, опять потащил по магазинам. Надя сопротивлялась.

-Зачем тратишься? Откуда такие деньги-ци?

- С работы, вестимо! – отшучивался Витя.

- Вагоны разгружаешь? – вспомнила она, как в её молодости ребята- однокурсники бегали по ночам прирабатывать на вокзал, а потом, на лекциях, вповалку спали.

- Специальностью, специальностью надо зарабатывать. Я, как никак, будущий архитектор! – улыбался Витя, но тайну своих доходов до конца не раскрывал, секретничал.

Она знала: упрямый, с расспросами лучше не приставать. Тихо радовалась: «Мужик растёт!» А с этой потаённой радостью затеплилась и надежда, может, хоть мальчик (чем чёрт не шутит?) при его характере вырвется из болота, которое её уже, видать, никогда не отпустит - опереться не на что и не на кого. Рядом – такие же, мечущиеся в безысходности друзья, знакомые, соседи.

II.

В тот день Надя пересаживала свой любимый плющ. Вымахал, за последний год, раздвоился, проскользнул из прихожей одним усом в кухню, другим заполонил спальню. Катерина прозывала его почему-то «мужегон» и каждый раз ворчала, мол, сколько тебе говорить, подруга, избавься ты от этого лопуха. А Наде нравился его вездесущий норов, его неуёмное стремление к жизни. Цветок прищемляли дверью, отхватывая огромные плети, забывали поливать, а он – молодчага, всё прощал, имел весьма сносный, даже на редкость терпеливый характер. Ну, не могла Надежда согласиться с такой необоснованной кличкой для любимца - «мужегон»! Для неё он был чудо-дерево, привезённое из Сочи, напоминание о единственном, самом ярком семейном отпуске, после которого и появился её Витюшка.

Прикупив в хозмаге громадную кадку, Надя пыталась перевалить в неё плющевое, непомерно разросшееся корневище. Руки по локоть в земле. Умаявшись, серчала,

выговаривала своему «зеленоухому другу», когда раздался звонок. Надя, отряхнув кое-как перепачканные руки, схватила трубку.

Безо всякой подготовки, далёким-далёким, словно с Сахалина, почти неузнаваемым голосом отец произнёс три страшных слова: «Умерла мама... Приезжай!»

Вот она – третья беда! Самая большая!

Тело разом потеряло контроль, перестало ей подчиняться, как-то неуклюже обмякло. Медленно оседая, она сползла по стене... села на расстеленные вокруг кадки, перемазанные землёй газеты. Из трубки, вдруг спохватившись, кричал отец: «Надя! Дочка! Надя!» Но что-то с невероятной силой сжало её, она окаменела... одни лишь плечи вздрагивали и вздрагивали в беззвучном рыдании.

Почему-то вспомнилось, что мама не хотела умирать в холода... радовалась, что дотянула до травки... Конец апреля... Черёмуха буреломит... А её не стало! И уже никогда-никогда не будет!

Надя не помнила, как добралась до родительской усадьбы. Последние годы в опустевшей деревне на многие вёрсты горел один-единственный огонёк - их крылечный фонарь, словно в безбрежной, непроглядной пучине сиротливый маяк. Оглохший и почти ослепший от старости Дружок, вот уже год, как не выбегал навстречу.

Ступая осторожно, словно боясь кого разбудить, Надя подошла к калитке. Накатила, душила страшная тишина. Чёрные, провалившиеся глазницы окон... Может, неправда? Света нет!.. Может, спят?.. Сердце захолынуло... Но ведь последние годы, как только слегла мама, до рассвета в доме не гасили ночник!

На ватных ногах дотащилась до крыльца. В темени позднего вечера наткнулась на что-то мягкое. «Дружок! Дружок!» Пёс даже не пошевелился. Попыталась растолкать – не откликается. Охватил ужас – и он!..

Постучала... Фонарь над входом обжог своей холодной пронзительностью. Послышались шаркающие шаги... Отец!

- Что ж ты ... в темноте-то?!

- А зачем мне теперь свет?

Если сейчас спросить... похорон она не помнила... Как в тумане... Погруженная в только одной ей ведомые думы поехала на кладбище, сама выбрала место для могилы (чтоб на полянке, чтоб на просторе, где по-светлее), отдала какие-то распоряжения по приготовлению к поминкам. На удивление родственников две ночи (пока тело мамы стояло в горнице) всё укрывала её напоследок бабушкиным пледом. Его убирали, - жара. А она снова находила и покрывала маму. Отвечая на немые вопросы, говорила: «Холодно... Она боялась холода». Кроме обычного смертного, разыскала мамин любимый костюм. На подкладке. Ничего не видя сквозь слёзы, наощупь передела в него покойницу, заменила тоненький платочек на шерстяной подшалок, кроме чулок, чтоб теплее – гамаши. Всё, что ещё могла сделать.

...С уходом мамы для Нади наступило безвременье. В самом прямом смысле. На похоронах у неё пропали подаренные когда-то мамой часы. Она пыталась разобраться, что значила эта добавочная потеря. «Какой-то знак свыше», - думалось ей. Но какой?..

Она не спешила обзаводиться новыми часами. И время для неё остановилось...

Навещая отца, Надя старалась переманить его к себе, в город. Но все уговоры заканчивались одним и тем же: «Слягу – тогда не откажись, а пока колтыхаю, нечего мне в ваших городах искать». И тогда Надя предупредила и брата, и невестку: «Раз такое дело, пока отец будет здесь, всё должно остаться по-прежнему, как при маме».

Полгода после похорон она не открывала шкафов, не заглядывала в комоды. Не могла... Там лежали вещи, которые хранили мамино прикосновение, пахли её любимой «Красной Москвой». Пустые флакончики заботливо разложены между аккуратных стопочек белья, рассованы по карманам пальто и плащей. Казалось, там ещё витал мамин дух. Открой дверцу – и он испарится, вылетит, исчезнет навсегда. Надя крепилась, держалась этим ощущением, ощущением последней тончайшей, эфирной близости с мамой.

Правда, с тех пор, как её не стало, Надя, прислушиваясь, как вздыхает за перегородкой отец, не могла ни одну ночь, проведённую в опустевшем, ставшем почему-то неизмеримо просторным, родительском доме, сомкнуть, хоть на минуту, глаза. Она находила себе любые дела (как когда-то мама), чтобы обрести равновесие, чтобы хоть как-то справиться с не отступавшим от неё горем: драила полы, чистила посуду, делала всё, чтобы не смотреть на опрятно застеленную материнскую кровать.

Однажды отец, озабоченный её состоянием, надеясь, что Надя хоть как-то отвлечётся, зашёл издали: «Ты бы посмотрела всёж-таки, что там у матери в сундуках, в шкафах. Разобралась бы. Мне эти ваши отрезки, рушники да подзоры не к чему. Забери, для тебя ж берегла... У тебя жисть впереди, может, что согдится... Да... говорят, что одёжу, в чём покойница помирала... постельное там... сжечь бы... Петровна присоветовала... Полагается...»

Надя, молча, взяла узелок, в который, снаряжая маму в последний путь, уложила снятые с неё вещи: ночная сорочка, ситцевый платочек, вязанки, наволочки-простыни. Он, этот узел, так и оставался с самых похорон в углу осиротевшей кровати. Никто не смел к нему прикоснуться.

На пустыре, по сумеркам, развела костёр. Одна... без отца... чтобы не видел, как она сжимает зубы, как не может справиться с выплёскивающимися из неё рыданиями, как воеет, причитает, бросая в костёр последнюю мамину одёжу. Долго смотрела на пламя, забыть его не сможет до конца своих дней.

Отец не тревожил, не окликал.

Наконец, последние искорки отлетели к небесам. Костёр погас, и показалось: с его умиранием на крошечную, мельчайшую капельку, притупилась, заглушилась, пригасла нестерпимая боль потери.

III.

На другой день, лишь забрезжило, Надежда отправилась в кладовку. Принимать наследство.

На самом деле это и не кладовка вовсе. Много лет назад, когда не стало отцовых родителей, эту засиротевшую светлицу так и не стали обживать заново. Здесь всё осталось по-прежнему, как при стариках: та же никелированная кровать, с блестящими шарами, в которые маленькой девчонкой Надя любила смотреться и корчить всевозможные рожицы, тот же, тканый на тогда уже разваливавшемся, перевязанном, скрученном вожжами прабабкином стане, настенный ковёр.

В самой середине его без каких-либо схем-чертежей, просто так, по генетической памяти, хранившей передаваемый из библейских времён лик Пресвятой Богородицы, любовно выткана женщина, покрытая омофором. С ярко-золотистым (благодаря окрасу нитей особыми травами) нимбом, с воздетыми к небесам руками – Мать Оранта.

Каждый вечер, отчитавшись за прожитый день, посоветовавшись о завтрашнем со Святыми угодниками с Божницы, укладываясь на взбитую перину, рядышком с Надей, старушка, словно продолжение молитвы, шептала внучке осевшие в памяти Нади на всю оставшуюся жизнь слова: «Спи, дитячко, с миром. С нами крестная сила и Мать Оранта... и денно, и ночью. Перекрестися на неё с поклоном, покуда не чуешь, к спящей, она к тебе сотан-то и не допустит!»

Наде припомнилось из раннего детства, как на дворе в двухведёрных пузатых чугунах, водружённых на каменку, бурлил крутой кипяток. В него подсыпали из газетных кулёчков красители, выбранные у Петруши-старьёвщика на меню. Подбавляли дубовой коры, соснового лапника, а коли потребуется - сенца, бузены-чернильницы, зверобойчика. Мотки овечьей пряжи, тонко сработанные за зиму, окрашивали в яркие, до рези в глазах, цвета.

Просушивали здесь же, в саду, развешивая на яблоневых и грушевых сучках. В такие дни сад для маленькой Нади превращался в сказочное три-девятьземелье. Она ныряла меж пёстрых нитей, вытянутых до самой земли прикрепленными к их концам валунками. Пахло овечками, Глашкой и Нежданкой. А солнечные лучи, просачивавши-

еся сквозь разморенную красильными парами листву сада воспаменяли подворье в какие-то неземные цвета.

Надя кружилась на месте, перед ней мелькал гигантский калейдоскоп, и подворье окрашивалось, как по мановению волшебной палочки, в изумрудно-лилово-бирюзово-пурпурные тона.

Может, бабуля – и не бабуля вовсе, а какая-то добрая ворожея? Помешивая шерсть в чугунах выструганной дедушкой специально для этого дела рогулькой, стряпает она своё колдовское зелье, которое (если раскрутится быстрее) белогористого Барсика выпачкает каким-нибудь серо-буро-малиновым, совсем некошачьим цветом, а перышки на красном крылечном петушке вдруг засияют такими перламутровыми переливами, что покажется, вот-вот он встрепенётся и заорёт на всю округу, мол, радость – то какая объявилась, день-то какой лучезарный!

На кровати, как и при стариках, пуховые подушки. Маки-незабудки на наволочках поблёкли, но всё ещё можно различить витиеватые прошивы. На одной: «Первый звон – пропадай мой сон; второй звон – земной поклон; третий звон – из дому вон», а на другой: «Страшен сон, да милостив Бог». В Надином роду всегда спали на таких подушках, с расшитыми наволочками. И всегда на них какая-нибудь присказка прописана. Дед, например, любил, чтобы у него под головой было напоминание: «Долго спать – с долгом вставать» и «Хвали сон, когда сбудется».

На большущих подушках до самого потолка одна на другой – думочки разных размеров, одна другой меньше. И все в цветах-птичках, все со старинными поговорками.

С тех пор, как не стало стариков, наезжая домой, Надя любила (как бы ни отговаривали родители, мол, там уж и духа жилого нет) ночевать в этой комнатушке, в которую теперь снашивали ненужные вещи и которую постепенно, к огорчению Надежды, захламляли. Здесь когда-то, да изредка и сейчас, снились ласковые сны, здесь ей было тепло и уютно. Каждая занавеска, каждый половичок напоминали о её детстве.

Бывало, разойдутся все из дому кто куда, останутся только Надя да бабушка. Малая кукол пеленает, старая – за громадным ткацким станом. В деревне пристыдят за леньность, коли полы не устелить «своими» половиками. Порвёт-подерёт бабуля старое старьё на длиннющие лоскуты и «наработает» половиков да дорожек: и в простую полосочку, и хитротканые, с заумными узорами. Но половики- что!

Вот коли речь повести о бездонном бабулином сундуке, так и дня не хватит на тот рассказ. Боже мой! Сколько этот старикашка знает, сколько помнит! Наверно, не забыл и тот день под Рождество.

Надя уже в школу ходила, во второй класс. В самом начале каникул, поспорив с подружкой Машкой, кто больше сосулек съест, нализалась-нахрустелась их столько, что Машке вовек не осилить. Уже к вечеру расхворалась, была укутана крест-накрест бабулиной шалью, растёрта гусиным жиром и на все каникулы отлучена от санок. Сколько ни просилась, «ни-за-что!», – отрезали, сговорившись, все.

Заматавшись в предрождественских хлопотах, родные на какое-то время о болезной позабыли. Где там! И пирогов напеки, и холодца настряпай.

Бабуля оставила свой драгоценный сундук распахнутым, видать, искала в нём что-то, может, праздничную скатерть, а может, нарядиться, подшалок новый. Стопами лежали на лавках рушники и отрезы ситцев-штапелей, шали и покрывала.

Надя, разобидевшись на весь белый свет, влезла на табуретку и прыгнула на дно. Крышка от её прыжка и захлопнулась. Бабушка доила в сарае корову, мама тоже хлопотала где-то по двору. Дома – никого.

Сначала Надя ещё пыталась выкарабкаться из ловушки, но не тут-то было! Тяжеленная крышища не поддавалась. Наконец, наревевшись досыта, она свернулась на самом доньшке калачиком и заснула. Какой переполох устроила своим исчезновением – не передать!

Он и сейчас ещё здесь, тот дубовый, таинственный, удивительный, самый большой,

из всех, что Надя видела в своей жизни, старый-престарый (кажется, ещё прапрабабкин) красавец сундук.

Когда-то он был празднично расписан: крупными аляповатыми заморскими бутонами на крышке; по бокам возлежали две жарптицы; а в центре – красивая пара. Надя до сих пор не знает о ней ни сказки, ни были, не припоминала их и бабуля, видать, затерялись в закоулках памяти (её или того раньше - её бабушки), но называла она их – Бова Королевич и Королевна Дружевна.

Цвета поистерлись, и теперь лишь можно догадываться о стародавней немудрёной раскраске сундука. Бабуля огорчалась, что в семье никто так и не обновил на нём узорочья. «Ить вот Витя-т мал-малецки «красит!» – сетовала порой старушка.

Если отрывать картинки, наклеенные на внутренней стороне крышки, слой за слоем, то до каких времён можно добраться, Надя не знала. Наверно, можно отыскать и лубочные картинки, и дагерротипы.

Последняя оклейка, скорее всего, произошла лет тридцать назад, когда в клуб по два раза на неделе возили индийское кино. Бабуля выпросила у киномеханика афишу с двумя индианками-близнецами, заварила на муке клейстер и пришлёпнула портреты полюбившихся черноколых девчонок под крышку своего сундука.

Может быть, в наши, с заморскими мебельными гарнитурами, времена, покажется странным удивительная теплота и нежность, охватывавшая Надю всякий раз, когда она дотрагивалась до простецкого, потерявшего счёт годам сундука с железной, кованой отделкой. А она в такие минуты словно погружалась в бабулины сказки, в самые что ни наесть преданья старины глубокой. Особо далеко ходить не надо, и выдумывать ничего не надо. В углу – прялка, по стенам – лавки, под окном – стол с широкой деревянной столешницей. Сказочный, волшебный мир детства!

Вот ведь были же мастера...Вроде бы что за невидаль – сундук! А какая на нём ручная декоративнаяковка! Бока изукрашены тяжёлыми коваными уголками, верх и сторо-

ны – такими же полосами. Бабушка сказывала, что привёз его в подарок прадед своей жене аж из Новгорода. Зачем его забросила судьба в те дальние края, она не ведала.

Многие годы, оставаясь в семье, переходя лишь по наследству, какую только роль не играл этот сундук за долгую свою жизнь: был и столом, и стулом, и кроватью, а самое главное - служил для хранения одежды. В нём же держали важные бумаги и документы. Бабуля прятала меж отрезков ситчика завязанный узелочком носовой платок, в котором сберегала копейку - другую про чёрный день. Здесь же хранилась и стопка фотографий её и дедовых многочисленных родственников, которых к концу жизни они уже начали путать: братьев, сестёр, двоюродных, зятьёв, невесток, сватьёв, кумовьёв; их и своих детей, внуков, всех тех, кто не поместился в длинный ряд рамок на стенах светлицы.

Бабуля никогда не называла сундук сундуком, для неё он всегда оставался «коробе-ем». Как-то покусился было Надин отец на жизнь заблудившегося во времени сундука. Так бабушка подняла такой гвалт, что больше никто и заикнуться не посмел о покупке шифоньера ли, комода ли для стариковской светлицы.

Кроме навесного, обычного замка, имел он потаённый, встроенный, секретный механизм, который, несмотря на давность лет, работал, как швейцарские часы, сбою никогда не давал. Лишь в войну, когда бабуля, вместе с другими вещами завалила его в шейной яме хворостом да копну сверху водрузила, замочек забарахлил, зачихал было от сырости, но Василич, местный Кулибин, что-то подвинтил, поплевал, постучал и с тех пор – замок не шалит.

После того, как во время внезапного пожара, спасая самое ценное, шестеро мужиков на вожжах еле-еле вытащили сундучище на вольный дух, дед приладил по бокам четыре крепчайших ручки (чтобы впрок ловчее перетаскивать).

Крышка у сундука тоже не из простецких, с секретом, в ней у бабули хранилось самое дорогое, требующее особого сбережения.

Конечно же, по такому случаю здесь был свой особый охранник – замок, хитрей которого вряд ли сыщешь.

Кроме этого сундука, было у бабули несколько ларей. Но замысловатостью и изяществом они не отличались, простые, грубые. А потому и отношения бережного к себе не имели. Стояли они в сенцах, в прохладе и наполняли их, сколько Надежда помнит, и зерном, и мукой, и солью, и чем попадя.

От самой старшей в роду самой младшей передавались всегда на Руси такие сундуки, набитые всякой бабьей всячиной. У Надиной мамы тоже имелся сундук, и не один. Но начала наследница осмотр своего добра именно с бабушкиного, потому как знала, что в этом «коробее» сберегались заботливо пересыпанные полынными цветиками от моли (как говорили в этих краях: «от шашала») вещи ещё её прабабки. Вынимались они лишь для проветривания и просушки, в летний жаркий день. А чтоб не выгорали на солнышке, вывешивались в полутенёчке.

Раньше Надежду удивляло, с каким трепетом бабушка доставала прабабкины панёвы, как ухаживала за ними, оберегая от моли и солнца. «Одёжка, как одёжка, что в ней особого, дорогого?» - думалось когда-то Наде.

Но для бабули ни одно подаренное Надными родителями платье не могло иметь ту цену, которой обладали три наряда, три панёвы, над которыми пуще всего суеtilась старушка.

Одна из них звалась «годовой», надевали её только по Великим дням, по Дванадцатым праздникам. И была она самой нарядной. Богатство же этого наряда определялось по украшениям на подоле. Чем больше ярких полос, тем ценнее панёва, тем наряднее хозяйка. На годовой панёве цветастых полос аж семь штук!

«Полугодовую» носили по очередным праздникам, по всевозможным торжествам, крестинам, именинам. Наряд этой панёвы был более скромным. Но из-за того, что одежда эта, как правило, была распашная, женщины и тут умели показать форс – носили её с «подтыком», поднимали, подтыкали полы за пояс, фигура становилась более пышной, статной.

Третья панёва – самая скромная. Но и она отличалась своей особой красотой. Обычно в ней ходили по воскресеньям к обедне.

Такие панёвы надевались (вроде юбок) на длинные рубахи.

Надя покопалась, пытаясь найти рубашку. Кажется, была одна такая. Но вспомнила, что бабуля наказала положить её в гроб не приметно в ней.

Цепкая детская память запечатлела, сберегла для тёплых воспоминаний в будущем роскошь ручной вышивки, символику добра на вороте, подоле и рукавах. Повсюду – круги, кресты и ромбы, птицы, олени и кони. Рубаха была расшита красными и чёрными нитками, разными техниками: и «крестом», и «набором», и «настилом», и «росписью», длиннее панёвы, а потому великолепные райские птицы на подоле, словно выпархивали из-под её пёстрых полос.

И вот теперь наряды, которыми дорожили женщины её рода, принадлежали Надежде. Давно нет бабули, не стало и мамы, некому, кроме неё, ухаживать за накопленным несколькими поколениями «бабьим добром».

День прокопалась она в старом сундуке, прежде чем добралась до донышка. Оглянулась: на лавках, на столе, на кровати – повсюду стопки и стопочки, вороха и кучи «бабьей радости». Одних рушников – под сотню, не меньше, гора горой. И крестом, и гладью, и стежком, и списом, чем только не измудрялись их расшивать. А кружева по концам – любая Елецкая мастерица обзавидует. Ведь дочка у матери, оттачивая мастерство, сберегая самое ценное, переснимала самые лучшие мотивы.

По качеству и количеству рушников судили о мастерстве и достатке невесты. Надя помнила ещё то время, когда под праздники вместе с бабушкой украшала светёлку самыми красивыми, самыми старыми рушниками, доставшимися её бабушке, кажется, ещё от прабабки. Вышиты они были одним из самых древних русских счётных швов – росписью (письмом).

Она тогда всё не могла понять: как это так в старину могли вышивать, что с обеих сторон всё выходило гладко да аккуратно, не было ни изнанки, ни лицевой стороны. Видать,

её предки-прабабки были мастерицы, что надо. Бабуля толковала, мол, такой искусный шов удваивает береговую силу рушника. А название его – письмо – указывает на то, что вышивки на этих старинных полотенцах вовсе не бессодержательные картинки, а самая что ни на есть книга, в которой особым языком записаны-вышиты очень важные знания русского народа. Письмена эти разные, но объединяет их всегда одно: обязательное пожелание здоровья, семейного благополучия, добра и счастья.

В русской хате полотенце занимало особое место. Без него не обходилось ни одно важное событие: и дружков, отправляясь свататься, перевязать, и новорожденного на него принять, и иконостас обрядить, и раму, в которой вся родня рядом сидит, украсить. На полотенцах и в последний путь из дома выносили-проводжали, и в могилу на них опускали.

Особое место среди нарядов занимали передники. Сколько Надя помнит, на кухонной вешалке всегда можно было обнаружить несколько штук. Стряпать ли, подать ли на стол – обязательно пригодятся. Но то были простецкие, каждодневные фартуки. И в сундуке таким места не отводилось.

Праздничный передник, тот, что надевали по особым дням, - наряд особый. Украшали его сплошь вышивкой да всевозможным кружевом, рюшами да оборками, кто во что горазд. Бабуля передник звала «завеской». «Что за фартук такой? Завеска и есть завеска», - утверждала она, и пытаться её переубедить было совершенно бесполезно.

Заглянувший в распахнутое окно отец не решился потревожить дочку, погрузившуюся в воспоминания ли, в размышления о будущем (кто знает?), лишь на мгновение задержал свой взгляд на распотрошенном сундуке, на разложенных по столу фотографиях и тихонько удалился.

Надя даже не вышла к ужину. Как сидела на кровати среди вороха родных, знакомых с самых ранних лет вещей, укрывшись любимой бабулиной белокрайкой, так не заметила, как уснула. Первый раз за столько времени не помнила, как промигнула ночь.

С рассветом сбегала на кухню, прихватила кринку молока да полкряхи, и опять на стариковскую половину. К маминому сундуку ещё и не подступалась. Сундук этот, хоть и даден был маме в приданое, оказался, спустя самое малое время, вещью почти что ненужной. Выглядел он намного проще бабулиного, неказистенький, ящик ящиком. Накупив шифоньеров и комодов, родители, стесняясь выставлять «пережиток прошлого» напоказ, задвигали сундучишко то в дальний угол, то выпроваживали в сенцы, а как не стало стариков, убрали в светлицу – с глаз долой.

Фотографий в нём не хранили, теперь про то альбомы имелись. Одежда – в платяных шкафах и комодах. Денег, припасённых на чёрный день, у Надиных родителей не водилось, потому как этот чёрный день слишком затянулся, длился для наших деревень уже не один год, и накопленные про худые времена деньжата истаяли, как вешний снег.

Откинув крышку сундука, Надя подивилась: на дне его лежал увесистый узелок. В льняной скатерти аккуратно уложены какие-то вещи. А под хохолок узелка подоткнута бумажка.

Надя развернула её и тут же узнала этот «неправильный», в левую сторону, наклон, которым грешили многие медработники. Мама, по окончании медучилища, столько лет профельдшерствовала в родной деревушке! Её почерк. Всего несколько слов: «Для Вити. Для правнучки или правнука».

Развязав «посылку в будущее», Надежда обнаружила полное детское приданое. Надо же, и когда только успела! Таилась, подарок готовила. Всё любопытствовала, нет ли у Вити подружки, обрадовалась, когда узнала, что внук собирается обзавестись семьей, и вроде бы даже потомство намечается. Зачув свой недолгий век (вдруг не дождётся!), потихоньку собирала для Вити, что могла... Распашонки и чепчики. Всё обвязала кружавчиками, расшила орнаментами-завитушками. Море ситцевых и фланелевых пелёнок. Вязаные пенеточки-таптушки, даже костюмчик из мягчайшего козьего пуха. Но, когда Надежда добралась до последнего

дара, ахнула. Детское лоскутное одеяльце! Легчайшее, невесомое. Так вот куда пошли исчезнувшие пару лет назад две пуховые подушки!

Как-то летом, просушивая на выставленных на припёке лавках постели – великое множество перин и подушек, Надя, зная им счёт, подумала, что просто обсчиталась. А, оказывается, уже тогда мамина тайная работа по подготовке детского приданого шла полным ходом. Видать, торопилась, чуяла, что силы покидают её, а так хотелось оставить для внука что-нибудь сделанное своими руками. Пусть не сможет она увидеть, понянчить правнуков. Эти пелёнки, вместо неё, обнимут и согреют её потомство... её кровиночку.

Вспомнилось вдруг, что на Руси лоскутные одеяла испокон веков считались оберегами. Мать шила новорожденному одеяло из своих юбок и сарафанов, защищая таким образом дитя от злых сил.

Надя пригляделась к квадратикам и треугольничкам, из которых выстраивался какой-то фантастический, знаковый узор. В каждом из них она узнавала кусочек, частичку какого-нибудь материнского платья, блузки. Этот – в горошек, от нарядной кофточки, в которую мама любила наряжаться в самые счастливые дни её жизни, Этот, травянисто-зелёный – от шёлкового костюма, что подарил ей отец на пятидесятилетний юбилей. А вот этот – в мелкий розанчик – от любимого платья, что привезла она себе из поездки к сестре, в Москву. «Мудрая, хорошая моя», – слёзы катились по Надиным щекам, капали на разложенное на её коленях одеяльце.

Она – эта крошечная детская одеялочка, была справлена с таким сердцем, что Надя долго не могла её выпустить из рук. Казалось, что через неожиданный подарок для её сына Надя соприкасается с матерью, читает её думы, ощущает нежность, которой насквозь прошито, вдоль и поперёк простёгано это последнее в маминой жизни рукоделье.

Обратная сторона одеяла подбита небесным щёлком, ярко-синей строчкой выписаны то ли морозные узоры, то ли перья не-

ведомых птиц. Лицевая же, самая нарядная сторона, поражала своей необычностью. Среди пестряди ловко подобранных полос и квадратов, в самом центре – тёмно-синее поле, а на нём – кипенно-белый ангел. Крылья распротёр, словно пытался обнять, защитит. Надо же, выдумщица какая, – улыбнулась Надя, погладила умело вырезанное из газовой косынки, мастерски прилаженное перламутровое оперенье ангелочка.

На своём веку она видела столько лоскутных одеял, что удивить её каким-либо было не просто. В их доме всегда пользовались только такими, сшитыми бабушкой или мамой.

Лоскутное одеяло, как линия жизни: в детстве – маленькое, а под старость – большущее, «нарощенное» годами, судьбой, детьми, внуками.

Вон стоит в углу, отдыхает, списанная на пенсию, когда-то неумолчная старая-престарая швейная машинка. Сколько поработала на своём веку! Сколько обнов перешила! И не припомнит.

Сначала на ней стучала бабуля, шила незамысловатые наряды: штапельные юбки, ситцевые кофточки для себя, порты и рубахи для деда; модные послевоенные юбки и жакеты для дочерей.

Потом облюбовала её мама, навострилась мастерить себе и подружкам сарафаны да блузки. А уж как замуж вышла, да деток нарожала, тут «зингерка» и совсем покой потеряла. Жужжала и днём и ночью, строчила-выдумывала детские платьица, костюмчики.

Как ни старайся, как ни наловчись экономно, по-хозяйски кроить, а нет-нет да останутся непригодные лоскутки, обрезки, небольшие отходы материи. Но и они у рачительной хозяйки пойдут в дело. Ткани на Руси всегда были дорогими и прекрасными, прежде всего вложенным в них трудом множества человеческих рук. Ценился каждый остаток. Ничего не выбрасывалось.

Из таких обрезков собирались, подгонялись по размеру косяки. Полосочка к полосочке, треугольник к треугольнику. Из них сострачивались квадраты. А уж из квадра-

тов – полотнища для одеял: хочешь, махни рукой на цвет – распестри, как попадя, а задумаешь понарядней, полюбопытней, так поломай голову, разложи лоскутики так, чтоб любо-дорого посмотреть – не одеяло получилось, а сплошное дивное узорочье.

В работе с лоскутами главное – цвет. Пёстрое при первом приближении, оно оказывается на удивление гармоничным при более внимательном рассмотрении. Такие вещицы считали, конечно, роскошью.

А вообще-то, появилось это рукоделие не из богатства. Тканью всегда в народе дорожили, лишний её кусочек никогда не пропадал. Измудрялись «востожить» такие одеяла и из старых вещей, экономно выкраивая несношенные, уцелевшие лоскуты, ведь одежда, сшитая из натуральных материалов, из льна, хлопка, носилась долго, зачастую передавалась из поколения в поколение.

Готовясь к замужеству, девушка должна была (непрененно сама!), как залог счастливого брака, сшить свадебное лоскутное одеяло. Да не простое: для него собирали лоскутки от одежды жениха и невесты, их родственников с пожеланиями счастья и благополучия молодым. Такое одеяло являлось праздничным, первой реликвией для новой семьи, считалось её оберегом и передавалось по наследству старшему ребёнку.

Надя задумывалась и раньше, не находила объяснения, почему так завораживают, так притягивают взгляд старые вещи и предметы. Какой магической силой наделены старинные вышивки и лоскутные одеяла? Непонятна, неразгаданна и таинственна замысловатая вязь узоров, берущих своё начало ещё в дохристианской Руси.

Уж откуда повелось, Надя и не помнила, только отношение к «самделешным» одеялам было в их семье какое-то особое. Сработанные бабушкой и мамой для каждого члена семьи, они никогда не выносились со двора, не показывались посторонним, и уж тем более ими не укрывали гостей. Приезжим, даже родственникам, эти одеяла никогда не подавали. Для гостей держали городские, покупные – ватные, а про летний день – суконные.

Надя даже и не представляла родительский дом без лоскутного одеяла. Вот и сейчас бабулину кровать украшает такое. Уже совсем выцветшее, выгоревшее, но от этого не менее ласковое и родное. Укрываться таким одеялом на печи ли, на кровати, – было обычным делом, у всех соседей можно сыскать (да не одно!) подобное.

Для наших баб шить лоскутные одеяла и покрывала – дело обычное и понятное. Скорее всего, для них эти вещицы, тряпичные куклы да вышивка являлись самыми первыми рукодельными произведениями.

Прикинешь одеяльцем постель, и в комнате воцаряется уют, от знакомых-перезнакомых «кубинетиков» исходит такое тепло, такой свет, что в хате сразу водворяется лад и покой. Скромная, повседневная вещица, а одаривает немудрёное крестьянское жилище радостными красками, согревает в долгие знойкие зимы. Залатано-перелатано. Истрёпанное, затёртое, с узорами грубых швов, ватное лоскутное одеяло... неприснившихся снов, несбывшихся мечт.

Лоскутное одеяло – кладёзь памяти. Расстели одно за другим, и получится нить, связующая многие поколения, ведь на его полотне и лоскутки от маминого платья, и уголки-квадраты от бабушкиной юбки, и клетчатые ромбы от рубашки брата, и крохотные полоски от распашонки сына. Сшитое-смётано оно из разных отрезков жизни людской. Здесь и радость встреч, и горе разлук, и потери, и ожидания, и веселье и грусть – всё, чем жила семья на протяжении многих десятков лет. Оно – из воспоминаний о поездках, именинах и крестинах, рождениях детей и свадьбах; о бедах и похоронах, о болезнях и потерях... О самой жизни. Ведь она сродни «самоделешному» одеялу – собрана из встреч, переживаний, радостей и расставаний.

Каждое событие так же, как в жизни, на лоскутном одеяле оставляет свой след. А люди, укрывавшиеся им, тоже какого-то определённого цвета, как и клочки ткани. Вот лоскуток ярко-зелёный, цвета майской травки – детский; этот, нежнейший, – яблоне-

вого цвета – девичий, а вот эти – вишнёвый и знойно-красный – женские. Насыщенно-зелёный или синий, с переходом в фиолетовый, – явно мужской.

Одеялочка такая из тончайших ароматов и красок. Развернёшь – и разлетятся лоскутки, словно весёлый рой махаонов, капустниц и крапивниц. Синий, жёлтый, зелёный, оранжевый – мелькают клочки от фартуков и занавесок, покрывал и халатов. Пригождалось всё: штапель и батист, шерсть и ситец, шёлк и креп-жоржет, бостон и панбархат.

Вытрется на нём ситчик, потеряет блеск шёлк, там – пустота, там – заплатка, вата скомкается, заветшает любимая вещица: с кем-то расстался, и кусочек тут же выпал, но приложит к нему хозяйка свои ловкие руки, подштопает, подстрочит, прирастит новыми лоскуточками – и опять согревает оно ставших для него навеки родными домочадцев.

Только к концу жизни одеяло лоскутное у всех разное, нет ни одного схожего: у кого-то – жалкие лохмотья и обрывки, у кого-то – маленькое, чуть укроешься. Но у большинства – непомерные, роскошные двуспальные. А на его «поле», словно на подворье за широко расставленными праздничными столами много-много ярких ляпочков – деток, внуков, правнуков... А как же иначе? Жизнь на том и стоит...

Как выбросишь дорогие сердцу воспоминания: танцы под радиолу или гармошку, застолье по поводу первенца, поездки в гости, Рождество и Пасху, юбилеи и сватанье? Эти одеяла-памятки связывают в единое целое, в большущее семейство и живых, и тех, кого уже нет рядом, но о них всё ещё ведут беседы, шепчутся по ночам лоскутки их рубашек и платьев на этом чудо-одеяле.

IV.

Спустя месяц, нагрянувшая Катерина застала подругу ползущей по полу квартиры, смётывающей какие-то уголки-квадратики. Повсюду горы лоскутов и обрезков однотонной и цветастой, в полосочку и горошек, в огурчик и звёздочку-мушку, шёлковой и штапельной, льняной и шерстяной материи.

- И куда ж ты запропастилась? – пробира-

ясь сквозь бедлам, полюбопытствовала она у Надежды.

- Да я и не пропадала вовсе, делом вот занимаюсь.

- Боже мой! Куда мы катимся, не знаю! Рыться в производственных отходах теперь делом прозывается? – съехидничала чем-то расстроенная Катерина.

- Что стряслось-то? – Надя, почуяв неладное, отложила ножницы. - Выкладывай.

- Можешь меня в подручные взять, будем вдвоём в хархарах твоих копать. Времени у меня теперь – через край.

- Ясно! Свободна, как птица?

- А чего ожидать-то? Последний цех накрылся. Все заводские помещения под бутки-салоны распроданы. Ловко! Производить теперь ничегошеньки не станем. Заграница нам поможет! Так, кажется, заверял незабвенный Остап Ибрагимович? Закупил за бугром – у нас в тридорога толкнул, опять закупил – опять толкнул. Боже мой! Жить страшно...

Надя впервые видела подругу такой беспомощной.

- Давай-ка на кухню, ставь чайник. Я сейчас, через минутку. Почаёвничаем, потолкуем. Глядишь, что и прикумекаем. У меня к тебе предложеньице наклёвывается.

До самого вечера говорили и говорили они о будущем житье-бытье. Надежда рассказала, о том, что недавно приезжал Витя со своей Наташей, вот, мол, мама, принимай невестку.

- А мне что, вижу: любят друг друга, дитё вот-вот народится. Разве ж я стану меж ними? Если Витя счастлив, так я – вдвойне.

- Чем невестка-то занимается?

- Да студентка ещё, третий курс текстильного. Не знаю... говорит, мол, академ возьмёт, а я так думаю: пусть ко мне дитё привозят, справлюсь, я теперь закалённая. А потом – я ж не одна!

- С кем это ещё?

- Как с кем? С Надеждой! – вспомнила мамыны слова и улыбнулась Надя, - ну, а теперь – о главном. А не открыть ли нам с тобой, Катерина, общее дело?

- И чем же заниматься станем?

- А ты не удивляйся, потерпи, не сбивай, я тебе всё путём и растолкую.

Надя принесла недавно законченное лоскутное одеяло, в голубых тонах, с небесной шёлковой подкладкой. Развернула и молчит, наблюдает, понравилось ли подруге.

- Витя, небось, подарил? Дорогущее, наверно!

- Да нет, уж! Сами с усами. Из таких же лоскутков, которые ты «харахарами» обозвала!

- Не может быть! Ну, Надежда, ну, рукодельница! Что ж ты талантище зарывала? И куда его теперь? Что дальше-то?

И Надя рассказала подруге о том, какое наследство оставили ей бабушка и мама. Показала старую «Зингерку», с горем пополам притащила с собой из деревни. Отвела Катерину в спальню, где на месте комода поселился бабулин красавец сундук. (Мамин Надя оставила в светлице, сложив в него кое-какие вещи).

Щёлкнув хитромудрым замочком, приоткрыла крышку «коробея». Дохнуло полыном, чем-то родным-родным, до боли знакомым, глубинным. А когда начала хвастаться содержимым, Катерина загорелась.

- Я знаю, что делать! Это не должно лежать мёртвым грузом! Это просто не может молчать! Надо, что-то придумать! Может, выставку какую устроить? - не переставала она тараторить.

- Подумаем. Может, и выставку. Только я не о том. Невестка-то у меня толковая оказалась. Я ж из деревни два мешка лоскутов притащила. Накопилось, некому было в дело определить. Только развернула я свою «фабрику по пошиву лоскутных одеял», как приехали мои молодые. Наталья-то, как увидела моё рукоделье, так и заявила, мол, если в салоне народных промыслов выставить, с руками оторвут.

Пока погостевали, я ещё одно одеяльце

сладить успела. Увезли они оба одеяла с собой, а через неделю перевод выслали и телеграмму, мол, ещё готовь. Я с почтампта пешком шла, не могла в транспорте. Слезы ручьём бежали, успокоиться мочи не было...

Нет со мной ни бабушки, ни мамы, а мне, куда ни взгляну, чудится, что они рядом... Словно куда-то вышли на минуточку и вот-вот вернуться... И бабуля подсядет к окну, раздвинет ситцевые с голубками занавески, привычным движением, не глядя, нащупает на липовой этажерке очки и затеет смётывать-«сбирать» очередное одеяло, а мама потопает в сенцах валенками, пооббивает с них бурьянным венником ледышки, распахнёт с хрустким вздохом двери, пропустит впереди себя клубы искрящегося пара, протянет мне раскрасневшимися застывшими руками огромную охапку свежестиранных рушников, таращащихся от каляного мороза, дышавших свежестью, полыньёй и рождественскими хвойными ветрами...

Царство им обеим небесное!.. Выручают они меня и по сей день... поддерживают. Память о них да оставленное ими наследство, дай-то Бог, помогут перебедровать, да стать на ноги...

Только не знаю уж, отчего, подруга, щемит у меня на душе и щемит, словно предаю я их в чём. Ведь не по нраву было бы бабуле, что одеяла мои лоскутные по миру разлетаются... Знаю точно, не по нраву... Осерчала бы она на меня: «Что ж ты, девонька, ай, нехристь, душу-то выстужаешь, напоказ выворачиваешь? Не след так-то... дажить за-ради куска хлеба, не след... Занедужит душенька враспашку-то, ветрами чужими захворает. То, что не напоказ, не для чужих глаз, самой сокровенное, в самой что ни на есть глубине носить следно, сберегать. Деткам сгодится».